

18+

Лазарь Соколовский

Крохи

БЫТИЯ

Лазарь Соколовский

Крохи бытия

«Издательские решения»

Соколовский Л.

Крохи бытия / Л. Соколовский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-981173-8

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Представляемая книга — четвертая из обещанных автором еще в «Дышащем космосе», изданном тем же издательством несколько лет назад. Все они написаны за последние 9 лет и являются как бы дневником человека, листающего календарь природы, поневоле сросшийся с происходящими на ее постоянно меняющемся фоне, возможно, даже переломными событиями. Носят ли они только личный или же общий характер — решать читателю. Последняя ли это авторская публикация, покажет будущее.

ISBN 978-5-44-981173-8

© Соколовский Л.
© Издательские решения

Содержание

Поэзия	6
Самый конец года	6
К ностальгии	8
Февраль	11
К общности	13
29 февраля	14
У дуба над Онтарио	15
Без оглядки	17
Семь частей одной симфонии	19
Конец пасхального апреля	25
Непроизнесенный спич не приглашенного на юбилей	26
Факел	27
Крохи бытия	29
К засухе	32
Задами эпоса	33
День августа	36
Тень поэта	38
В плену	40
«...без божества, без вдохновенья...»	42
Служение	44
Середина октября	46
Бульвары	48
Перекличка	51
Еще одна зима	53
К той дуэли	55
Кони Айленд	58
Осень восьмая	62
Искушение	65
К форме	66
К прижизненной связи	67
Из второго ряда	69
К чувству родины	70
Неистовый май	71
Философские потуги	73
Ночная чертовщина	77
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Крохи бытия

Лазарь Соколовский

Редактор Алла Соколовская

Дизайнер обложки Алла Соколовская

© Лазарь Соколовский, 2020

© Алла Соколовская, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-4498-1173-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Поэзия

Самый конец года

Не хлебом единым,
но хлебом едимым
жизнь теплится в теле еще,
хоть полночь все ближе,
да засветло выжил,
задвинув последний расчет

на годы ль, на зиму,
где сумерки снимут
уставшую, хрупкую явь
и вязкая вещность
скользнет в бесконечность,
как двинуться по небу вплавь.

Ночные границы
смутны, а приснится
земная какая-то херь...
Но все же земная:
лопух за сараем,
от ветра подпертая дверь,

приметой упадка
раскисшая грядка
от поздних декабрьских дождей.
Снег выпал и стаял,
случайная стая
скворцов остающихся, с ней

как будто полегче
в усилиях певчих,
хотя размывается сон.
А, может быть, вовсе не сон, а начало
иных вдохновений, чтоб суетность спала
до следующих похорон

стихов, нисходящих
в какие-то чащи
за память, покуда нужда
всплывет по тревоге —
от мыслей о Боге
не деться и нам никуда.

От мыслей о смерти
в дневной круговерти
пустые звонки от судеб,
лишь ночью бессонной
как крохи от шмона —
раздаренный, съеденный хлеб

сумы ли, тюрьмы ли,
в которой прожили
пустячную жизнь сгоряча,
в казенной опале
себя раздавали.
Да теплится как-то свеча...

К ностальгии

1

Седьмая зима от того перепада,
где думал, до берега не дотяну.
В моей ностальгии не грусть, а досада,
что, вроде, и корни пустил здесь – в плену

у той же с рождения данной поклажи,
где выбор естествен: тяни, знай, свое.
И груз не избыть языка, пейзажа,
хоть вяло пытаемся как-то вдвоем.

Телесная ж тяга свои предъявляет
права, поминая простате, костям:
твоя ностальгия скорее по маю
воздушному и по октябрьским путям,

заваленным листьями. Что ж, половина
зимы отошла, за средину январь
уже заступил, ностальгия чужбину
почти приютила... Но снова, как встарь,

весна не спасает: хоть небо яснее —
вновь родина фальши полна и вранья,
былой нечитатель со мною стареет
в плену ностальгии такой, как моя,

когда задыхаешься в невыразимом
желанье каких-то несбыточных благ
любви, вдохновенья... Все мимо и мимо
надежды, да и от себя ни на шаг,

от зависти к музыке, той же стихии,
как космос, что вширь без времен и краев.
По жизни сходящей скорей ностальгия,
по детству, отплывшему в небытие.

2

Время лести прошло, резать – не говорить
правду-матку пора: обнищала порода.
Мы увозим детей в невозможности быть
в пейзаже бескрайнем со странным народом.

Это страшно сказать, не пеняв самому
за такую же трусость все десятилетия,
как с подачи бандитов кремлевских тюрьму
и бараки сбивали, где канули в «нетях».

Где ВОХРА тоже наша, а третья власть,
голосистая, с ромбиками институтов —
тоже наши студенты, червонная масть,
не с «любви» ли к отчизне сползла в проституток,

что-то зная. Но выжить, да так, чтоб денюжат
прикарманить иудиных – выдался случай
повседневный, увы... Мы увозим ребят,
чтоб забыли, как нам за оградой колючей

поживалось, и, вроде, любилось, и вро...
Черт! Как тянет скатиться в угар ностальгии
и опять по инерции (вот уж народ!)
петь в пришедшие годы, как в 40-ые,

позабыв, что фашизм на фашизм не к лицу
выдавать за победу, вернувшись на нары.
Растереть треть людей, чтоб опять к подлецу
возвратиться... И в будущем тоже по старой

парадигме: опять маслом вниз бутерброд
и опять виноватить во всем инородцев
за опричнину, за... Разве это НАРОД?
Мы увозим детей, что еще остается...

3

Что от Бунинской ностальгии:
юность, чувственность, пейзаж,
бесконечная грусть России,
та, которой не передашь

многословием – лишь намеком
чуть коснешься ее слегка,
как любовь, что сошла с потоком
снега вешнего, облака,

уплывающие куда-то
в шепот леса, в степную тишь,
где за вся и за все расплата.
Ту Россию не возродишь...

Но склониться пред этим чудом

до того, как вечный покой
подойдет... Есть язык покуда,
искареженный, но живой.

4

Старая, старая сказка: избушка ль, сарай,
передом к нам повернись, приюти постояльцев...
С первым дыханьем не мы выбираем свой край —
он принимает заблудших, гадая на пальцах,

что за сюжет их мотает. Как перекаати-
поле, роимся вокзалами, в аэропортах
дремлем, кося на вещички. Какие пути
жаждущих нового тянут то к богу, то к черту?

Как оказались мы здесь, полубеженцы, по-
луэмигранты, спасая ребенка заранее
от обезумевшей родины, торной тропой
тоже решив раствориться в другом океане —

в одноэтажной Америке? Та же зима,
разве чуть мягче, короче, зато остальное
почеловечней устроено, даже сума
не отошала настолько, чтоб числить в изгоях.

Маленький город, где колледж – единственный свет.
Несколько тысяч студентов. Река. Профессура.
Озеро – целое море, отличие – нет
соли, а галечник, волны – такая ж текстура.

Госпиталь есть для окрестностей. Сестры. Врачи.
Интеллигенция в общем, хотя работяги
вряд ли уступят в житейском. Но как ни кричи
в темень – на улицах пусто, лишь в барах ватаги

смутных. Семейный народ по домам по своим.
В провинциальной Америке скучно немножко:
в окнах темно к 10 – на работу с ранья. Но сидим
заполночь, те же друзья и Луна над окошком.

Поздний приют полюбил я при скромности всей
встречных в пути, но такой красоты пейзажа...
Город заштатный, где местные власти музей
мой не откроют, наверно. Что ж, как-нибудь слажу.

Февраль

1

Что-то не пишется. Грустно. Да и не живется.
Так лишь, в полжизни, и то по утрам. А когда
к полночи ближе, как будто в глубоком колодце —
темень да тишь, словно насмерть уснула вода.

Все? Отработал? Ни лавра, ни лиры – пустая
дней тягомотина, выданная благодать
в форме безделья. Собака соседская лаем
чуть отвлечет, и опять за английским дремать.

Творческий кризис нагрянул неожиданно? Зима ли
пыл остудила? Недавно: рассвет лишь – блокнот
в руки, к окну, где светило вставало, детали
не умещались в привычные рамки длиннот.

И на дорогу, схватить ускользящий промельк
мысли, росую сверкнувшей под первым лучом.
Как все казалось неважным, несостоящим, кроме
этой минуты, когда и конец нипочем...

Месяц всего-то назад, ну, пусть два промелькнули,
и как отрезало. Все потускнело вокруг.
Сердце поэта заблудшего жаждало пули
так же ль, как два (до и после) глядели на крюк?

Что здесь первично? вторично? Заложники ритма,
где словоблудье с живым еще пульсом роднит,
время отрыва подходит... А если молитвой
стих не случится – путь к высшему напрочь закрыт?

Как дисгармония мира, февраль нескончаем,
реки мелеют: уже Ахерон переходится вброд,
сгинул охранник. Терпенье дотянет до мая?
Смутно. И тело уже от души отстает.

2

*Не выношу я поэмы киклической, скучно
дорогой
Той мне идти, где стучет в разные
стороны люд,
Ласк, расточаемых всем, избегаю я,
брезгаю воду*

*Пить из колодца: претит
общедоступное мне.
Каллимах, составитель
«Каталога Александрийской библиотеки»*

Шестого февраля пришла зима.
Шел год 16-й начала третьей эры.
Узнать, кому был близок Каллимах,
отец библиографии, манеры

не позволяли – слишком был далек
учености налет александрийской.
С поэзии ж его лишь сотня строк
осталась и скорее для приписки

к тем профессионалам, что пришли
через толстые буклеты антологий.
Не выпало иначе – исполин
начитанности брел не той дорогой.

Поэзия легка, ее накал
не только в содержании на деле:
Арес был туп, как всякий генерал,
еще Гомер певал, зато в постели...

Как двух слиянье душ – всего пролог:
любовь любовью, только жаждет тело
еще чего-то, что Гефест не смог.
Слегка лишь Афродита покраснела...

Возможно, не об этом он читал,
край созерцая нефтяного шельфа.
Прикинуть, сколько желтый тут металл
нагрел бы рук... Он верил в Филадельфа

как в справедливость, не склоняясь ниц
и сохраняя право неучастья,
где книги еще как горят! «Таблиц»
остался свод, ну, и стихи, к несчастью...

Шестого февраля сменился вид
со снега ль? Третьей эре ль не до песен?
Рожок судьбы: он просто был забыт.
Я не забыт – я просто неизвестен.

К общности

Я был, наверно, неплохим отцом,
перемигнувшись, сыновья сказали б.
Переросли телами, но лицом
похожи все-таки, и спутаешь едва ли.

Страна сменилась, обжитье квартир,
а в общем не утрачен дух читальни.
Мне с ними шире становился мир,
как с женщинами глубже и печальней.

Я знал, не узы кровные роднят,
хотя и в этом привкус есть особый.
По жизни я ль их вел, они меня —
карабкались и падали бок-о-бок.

Да, их возил в колясках по лесам
московским или загородным – всяко,
но по тропинкам строки плел и сам
глазами их глядел на пир двоякий.

А впереди бежал наш верный пес
свидетелем семейной благодати.
Взамен молитв им с измальства привнес
к природе склонность, к меньшим нашим братьям.

Как рано были книги: волшебство,
бездонность сказок – корни подсознания,
на рост Толстой и Гоголь... Но всего
скорей мы им пример порою ранней,

а там, что перетянет, от краев
родных или чужих придут к сравнениям.
Мы сами в детях любим их? свое?
намек на сходство? тягу к продолжению?

На то и диалектика: Гольфстрим
подобья размывается в дороге.
Вот выросли. Надеюсь, неплохим
отцом был. Может, главное в итоге.

29 февраля

Последний день зимы. Ветра, ветра
с природой календарной вне согласия:
подумаешь, мол, оттепель вчера...
Весне не развернуться в одночасье,

зимы не сдвинуть снежную кровать
одной за пару дней. А я-то, мы-то —
привычно в окна пялиться да ждать
в осколках притаившегося быта,

не вне застоя внешнего – внутри,
где волю сами туго спеленали
на всякий... День протянется, два, три —
гудит пурга, опять зима скандалит.

В норе теплей, повременим чуток,
пока напор весны не перевесит,
а там и в полный голос... Что ж, восток
зажжется, не дождавшись чьих-то песен,

призывом чудаков, что к полыньям
влекомы, к лебединым хороводам,
к подснежникам – к заначкам там и сям
как будто оживающей природы.

Под кровлями уже капель в ручьи
свилась. Громит прибрежные торосы
прибой. И гуси тянутся в ничьи
пока угоды и кричат без спроса

на паводок, нахлынувший под лед,
которому теперь уж не до лени.
В последний день зимы зима не в счет —
вступает жизнь в иное измеренье.

Весна как вызов: жив или не жив
в природном, в государственном засилье.
Мотив борьбы – единственный мотив
в том хаосе, где еще держат крылья.

У дуба над Онтарио

Начало марта. Вынужденный взлет
над будущностью в общем-то невнятной.
И снова выбор: ринуться вперед
или неспешно в память – в путь обратный,

в тот хаос вне сознания, что несет
в себе самом потуги к расслаблению.
Начало марта. Трескается лед.
Исходный паводок толкает к обобщеньям.

Как водная стихия, так земля
деревьями, песками, камнем дышит.
В текучем ощущает слух и взгляд,
в застывшем – только слух и много тише.

А больше осязанье. Как сквозь мрак
неведомого, чувствуют скитальцы
тропинку, уводящую от благ
куда-то вглубь, так стоит верить пальцам.

В отзывчивости нашей дело, ей
порой терпенья просто не хватает.
Обнять могучий дуб – и от корней
через кору, как пульс, струя такая

затянет в танго жизни от времен,
когда и ствол не стан, а так... былинка.
Еще я не был в мыслях даже – он
уже тянулся к свету из суглинка.

Какая сила изнутри, извне
дает начало, а затем Светилу
на полотне равнинном, на стене
гранитной мазать пятна хлорофилла?

И нас не эволюция ль вела
путем преображенья в дикой чаще,
вниманья больше душам, чем телам,
при этом уделив в надежде вящей,

что мы с тем током вырастем стократ,
деля дыхание общее с природой?
Успеет ли наш разум взвиться над
не первым испытанием исходом?

Мне будто подан знак через кору
и синь, что льется сквозь густую крону:
бесследно не исчезнем, не сотрут
с доски заветов высшего канона,

где круг не замкнут – движут рамена
галактик звездных мыслящие силы.
Пусть это будет Бог, чьим письменам
все отразить, что есть, что будет, было...

Без оглядки

Дети далекой войны, мы уходим, и что после нас:
памяти поле, разбитое танками, рвы в иван-чае,
полугодовалое детство, враждебный до времени класс
в 20 изрезанных парт да упрямо надежда слепая:

все будет лучше, когда восстановим, светлей и сытей,
полная воля, совсем не останется липкого страха,
даже когда ты не то чтобы весь – вполовину еврей,
и на веревке болтаются те же кальсоны с рубахой.

Все будет лучше, конечно, остался последний бросок —
и понастроим домов из стекла и бетона, а шмоток...
что там в шкафу – в голове не уместится! Встанет Восток
и развернется плечами: груз-200, 9-я рота

и позабытая, вроде, с годами кликуха «Даешь!» —
мы, полунищие, жирной Европе, Америке вставим!
Лучшая тихо потянется за рубежи молодежь...
Что же, народ выбирать свою терпкую долюшку вправе,

вправе закусывать горькую жидкость скупым огурцом,
тупо пугая соседей ракетами с жуткой начинкой
с гордой оглядкой пришибленных: бросьте, Он был нам
Отцом,
был настоящим Хозяином, мало ли что половинку

порастерял по дороге народу, зато как сильны
были и как еще будем, когда не помрем с голодухи...
Вот мы уходим, детишки той самой далекой войны,
что ж после нас – безымянная память, тревожные слухи,

знак препинанья привычный в что делать и кто виноват,
рост, приглядеться, все больше и больше назад почему-то.
Не разделяя проверенных временем координат,
путь наш особый: проснуться – да заново в смуту.

Можно, конечно, погано стебаться, кто со стороны
или же кто от кремлевских дельцов принимает медали
в очередной юбилей до сих пор непонятной войны:
вроде, Победа была... А не сами ли души распяли?

Принято как-то считать, что народ невиновен, что он
даже святее святых и наивная, детская жертва —
странно, все тот же над Волгой бурлацкий некрасовский стон,

хоть за воротами звездными пушек ощеренных жерла...

Семь частей одной симфонии

*...это музыкальная исповедь души,
на которой многое накоплено...*

П.И. Чайковский

Снова попытка сближения с музыкой, крест
всякой поэзии – двинуться внутрь снаружи,
где бессловесный, но схожий по стилю оркестр
если не рифмами – скрипками втянет, закружит.

Ритм и созвучья подобны: весною капель
с крыши, как клавиши, чем-то заполнить стремится
ту немоту, где стиху соскользнуть в параллель
празыка, на котором общаются птицы.

Так ли уж важно, что время нас всех развело —
с Моцартом он не сошелся, как я с Пастернаком —
общность иная заполнит саднящий разлом,
пусть никогда не делиться со-мненьем. Однако

мы со-причастны друг другу, единый посыл —
выразить душу живую словами ли, нотой,
творческий был бы настрой да хватило бы сил...
ну, а потомки простят и грехи, и длинноты.

Только б решиться – а дальше прыжок в пустоту,
где пониманье смешается с непониманьем,
сорванный голос опять обретет высоту,
слава тогда подойдет, как всегда, с опозданием...

1

Бег начинался веселой, пушистой порой,
«Первая», зимняя, лихо катила на тройке,
грезы любви выдавал за реальность герой,
не обращая вниманья на климат нестойкий.

Тремоло скрипок, снежинки, кларнет и фагот —
опередить духовых и к оттаявшим струнным
мягко приникнуть бы... Как умудрился народ
выжить при этих метелях, при власти чугунной?

Но что художник-романтик берет за шторма
в гулких басах и ударных – такая же нега
в цельной как будто картине: зима как зима,

грязь не видна по дороге, укрытая снегом.

Первая, «Зимняя», трепетный взгляд из окна
поезда или с прищуром сухой из кибитки.
Серые избы в бескрайних равнинах – страна
только вздыхает, как туба, огромной улиткой.

Вроде, знакома, да больше по песне лихой
или протяжной, что с раннего детства запала,
вьется как лента по ветру, ведя за собой
незамутненную опытом душу финала.

2

А в Малороссии как-то «Вторая» не так
шла поначалу, как будто он легкость утратил
прежнюю или сбивал с панталыку гапак,
или запретные страсти душили в кровати.

Главная мысль ускользала, сбиваясь на пляс
девок с парнями в июньское щедрое ведро.
Как ни цепляла инерция лени, в запас
силу копил, чтобы к венцу незаемным аккордом

броситься в скерцо, как бы из стоячей воды
вдруг окунуться в холодную, бурную реку:
ожили скрипки, альты и рассеялся дым,
с плеч будто спала тяжелая чья-то опека.

Как еще был он далек от любви, от земли,
отрок вчерашний, хотя уже 30 с довеском,
но уж известность маячила, и журавли
будто на крыльях несли ее над перелеском.

Танки еще не утюжили этих дорог,
и за левадами мир громоздился просторный,
где-то вдали заливался пастуший рожок,
не доверяя искусственной теме валторны.

3

«Третья» тоже давалась ему нелегко,
правда, июня на черную запись хватило —
больше наброски, однако. Так бродишь пешком,
что-то натащишь в блокнот, и как будто бы мило.

Но поутру протрезвешь: откуда взялась
эта не то чтобы мысль – на полмысли не тянет.

И с говоруньей-певицей расторгнута связь,
разве что голос волшебный по сердцу когтями...

Эта раздвоенность чувств нескончаема, не-
остановима и давит на хрупкую форму.
Значит, работать на технике... В этой стране
личность раздавлена, если не втиснута в норму

определенную, где предсказуем дуэт
двух однополых. Дана тебе только отсрочка.
Сплетней слушок, анонимки... Мой тучный поэт,
вспомни – кружились студенческим грешным вальсочком.

Где те святые... Что было, былшем поросло,
3-я, глубинная часть, замещается скерцо,
белая птица любви не помашет крылом —
сдвинулось что-то в природе, и некуда деться.

4

Время «Четвертой». Закончены игры. Зима,
снежная, легкая, в прошлом осталась, не дале.
Все предыдущее как бы разминка. С ума
чуть не свели 9 суток женитьбы. Едва ли

смог уберечься, когда бы не музыка, та
сила, что необъяснимо владеет тобою,
даже не пробуй сбежать – партитура пуста,
просто стонать в переполненном зале гобоем,

коль твоей мысли отставшей в обычный поток
страсти не влиться. Так что же, уйти, коль не познан
или отторгнут с ухмылкой... Не видно дорог...
Но оглянись на стоящую в поле березу

и роковой приговор отложи – не пришло
время вот так оборвать недопетую строчку.
Как одинокому дереву ни тяжело,
только упрямо в апреле разгладит листочки,

чтоб возрождением откликнуться в троицын день
зеленю плачущих, тонких, струящихся веток,
где растворится в финале угрюмая тень,
струнные взмоют, весенним дыханьем согреты.

5

«Манфред». Трагизм нарастает. Но это еще

не настоящая драма, скорее либретто,
где соблазнили альпийские кручи, расчет —
музыкой отгородиться за схожесть с поэтом.

Рок караулил обоих, но как далеки
их корабли друг от друга, не сблизиться в главном:
гордость британская в первом – российской тоски
море в другом, тот упорный бунтарь – и бесправный

этот, в себе не уверенный гений, навзрыд
что лишь пытался шатнуть неподъемную стену.
Первая часть от себя, оттого и болит
сердце, что дальше случилась стихами подмена,

дальше чужое: фонтаны, страстей лебеда,
духи на флейтах верхом, черт, ударникам сродный...
Вместо расплаты за избранность – так, ерунда
вышла, скорее пародия глуби природной.

Все уничтожить? смолчать, сохраняя лицо?
брать на концертах цветы, притворяясь, что квиты?
может, начальной закончить, и дело с концом,
тайную рану потомкам оставив открытой.

6

Что-то внутри надломилось, в призыве «держись!»
вдруг усомнился, в миноре борьбу отлагая.
«Пятая» шла от «Четвертой», такая же высь,
глубь погружения в бездну, но мука такая,

что не озвучить словами, а тут еще хмарь,
притормозила весна и любовь запропала.
«Первая» солнцем полна, но тогда был январь,
в молодость вера с надеждой вели поначалу.

Траурный марш теперь спутником – отклик войны,
как на холстах Верещагина – мертвым просторно.
В светлом, казалось, анданте рыдания слышны
жен, матерей под прощальные плачи валторны.

Что-то меняться должно: уже вальс – не вальсок,
тот, что тревожил студентиков в тесном манеже.
Годы работы, однако, уходят в песок,
сколько башкою ни бейся, а люди все те же.

Взмоешь над схваткой – один, как всегда, окаем
пуст, лишь застывшего зала упрек? ожиданье?

Просто решится загадка, маэстро: живем
лет еще 5 или 6, ну, а дальше – молчанье.

7

Вот он, последний порыв, на который скопил
столько любви и отчаянья – еле вмещает
сердце больное, душа поседевшая, пыл,
что поубавился, в сваре житейской мельчая.

Песню дороги в «Шестой» начинает фагот,
дальше на детство и юность откликнуться скрипкам,
молодость вальс отыграет, признание, почет —
все промелькнет, самосуд не смущается пыткой.

Будто заказанный марш преступил апогей —
строй одноликих двуногих гремит сапогами,
смолкли дневные свирели – сквозь мрак у дверей
призрак, не призрак... Дареный заступник не с нами.

Но тут не реквием вовсе – скорее уход
в долгую русскую зиму, в скамьи и качели
прямо у клинского дома. Природа вздохнет
и отзовется весной эхом виолончелей.

После премьеры дней 10 – и полная тьма,
и расслабуха как будто... Но дальше – ни звука!
Если б поэзия вовсе не шла от ума,
это была бы совсем невозможная штука.

* * *

Что ж, и тебе, подмастерье, пора за итог,
но, как предшественник, тему закончи, не прежде.
В нынешней хмаре духовной Чайковский – глоток
воздуха, света и невоплотимой надежды.

Снова страна на распутье, однако вино
дивных симфоний уснувшую волю вскружило —
хоть попытаюсь, подумал, а там заодно
кровь подостывшая вдруг понесется по жилам.

И понеслась, свой сюжет сопрягая слегка
с тем, где его вдохновенье терзает до дрожи.
Что-то в натужном рассвете кропает рука —
ясно, что слово не музыка. Ясно. Но все же

сколько молчание хуже... Оркестр, играй! —
жизнь не пустячна с явлением прежних великих.

Пусть не сложился апрель – приближается май,
чтобы не дать вдохновенью застынуть на пике.

Та же глухая пора, но и тот же простор
удостовериться – мир ведь не только жестокий:
как и всегда, где природа играет мажор,
там и слова сопрягаются в нотные строки.

Конец пасхального апреля

Раздался б клич: дорога дальняя! —
кто сомневался, двинул сразу бы?..
Неделя светлая, пасхальная,
копилка чувства, кладезь разума.

Какая ж тяга: годы, зимы ли —
клубок отмеренный смотается
и пусто в доме, словно вымыли
с полами дух живой... Забавница

шепнет лукавая: мол, нет конца
утрам прозрачным – кроет инеем.
Чего же ждал, когда растеплится,
с землей чтоб слиться как святынею,

чтоб лето подгрело поближе бы
к двору зеленою порошею,
береза звездочками рыжими
присыпала тропу заросшую

в сад преданный, где б в цвете вишенья,
где спит любовь – пора начальная
преображенья, в свет над крышами
слова вплетались бы случайные

или под чьим-то высшим помыслом...
Увы, не с нами – где-то бродит вне...
От рождества апрель несло на слом,
в природе глухо, как на родине,

и некому следить-выслеживать,
что парки понавяжут древние.
Была мечта – как будто не жили:
Фавор расплылся над деревнею.

Картишки ль так легли игральные,
фальшиво ль прозвенела здравица —
уходят ввысь круги пасхальные,
а нам никак не воскресается.

Непроизнесенный спич не приглашенного на юбилей

Марине

Девочка, играющая в...
да не все ль равно, во что играем —
в классы от черкизовских сараев,
в книжки до лонгайлендской ботвы.

Женщина, кружащаяся по
время подводить черту куда-то, —
поверх мифов вновь с таким же братом,
только не смешаться бы с толпой.

Выдумщица на бес-плотном шаре,
как у Пикассо, с изломом рук,
что ее изменит, что состарит —
тот же детский из-под век испуг.

Как играть на колченогой флейте
траурный торжественный хорал —
та ж мольба: вы только не разбейте
хрупкий театральный идеал.

Юбилей... года заемной тарой:
дети, неудалая семья...
Да и кто решится ей под пару —
на песке одна лишь колея.

Большую сознанья половину,
синей птицы звездную кадиль,
так и пронесли Ефим-Марина,
как у Меттерлинка Тиль-Митиль.

Оттого скорей и одинока,
что не в доме билась, не в стране.
Я случился как-то ненароком,
да сбежал – уж слишком не по мне

девочка, играющая в сказку
в мире, где не детская мораль.
Не понять себя и под завязку —
есть, возможно, выход... Только жаль.

Факел

Человек, помогай себе сам.

Бетховен

Искусство – шанс уйти хотя б на миг
от дикости, что прет в своем же мраке.
Не выразит намек, не схватит блик,
тут чад свечи не в счет – пылал бы факел!

Какая же наивная черта:
боль оправдать одним злосчастливым фактом...
Когда б грозила только глухота,
слепцов одна б вязала катаракта,

он это перенес бы, как-никак
в борьбе с судьбой натуре лишь закалка —
тут вся Европа наперекосяк...
Надежда ведь была... Ее-то жалко.

Где даже тот, что, вроде, шел на бой
с коронами за волю, равноправье,
что связан «Героической» с тобой,
как с братом, – на поверку раб тщеславья.

Где смиренный обыватель, как утес,
привычно наблюдает из окошка:
очередной правитель... что привнес?
как это отразится на кормежке?

Приноровиться к веку – не с руки!
Годину бед пересидеть бы тихо... —
искусство шло извечно вопреки,
когда оно искусство, а не прихоть

придворная, притворная. Раним
неискренним прохожих сожаленьем,
в минуты силы – состраданье к ним,
в минуты слабости – ответное презренье.

Когда взамен не внешний зов, а тот,
которому до фенечки непруха
с любовью, с мимолетностью щедрот
временщиков – гул внутреннего слуха

житейскую покроет кутерьму
на второпях сколоченной арене.

Высоты духа гения... Кому
судить его – кружиться в вальсе Вене.

На торжище, где та же толкотня,
незваному такому ж, нелюдимому
нести б хоть искру с прежнего огня!
Нам, не слепым и не глухим, – все мимо...

Но факел ведь горел! Ужель закат
смиранный утянул его за море,
где изредка ему взметнуться над
изысканным мирком консерваторий?

Одна надежда и на этот раз:
хоть не оставил ни детей, ни брата,
вдруг снова зазвучит в рассветный час
из-под развалин духа хор 9-ой...

Крохи бытия

1

Приплыли, бездумно на веру приняв
заветы пророков непьющих:
терпя и трудясь, свой притащишь состав
в какие-то кущи, не кущи —

к театру, где если и праздник – не твой,
да сам по привычке не ропщешь.
Комедию драмы ломает герой,
где ты родовой гардеробщик.

На вскидку ж терпенье – такой примитив,
что как ни накладывай ретушь —
ты старый, ты нищий, ты списан в архив,
где копится всякая ветошь.

В значке, как память порой ни шустра,
известности нет и в помине,
баланс подведен: ни кола, ни двора
что завтра, что присно, что ныне.

Блокноты, блокноты... словесный стриптиз,
приют мимолетным страстишкам —
и брошен, забыт, словно чеховский Фирс...
Казалось, был сад и домишко,

как давний мозоль: не хорош, коль не трет,
всегдашний объект для ворчанья.
Отход незаметный оркестра, в отсчет
играющий – в фарс расставанья,

с которым и ты поплывешь в унисон,
как вырубят вишни-черешни.
Кончается явью чуть скрашенный сон,
проснуться в пейзаже нездешнем,

где публика сгинет, где свой номерок
куда, недотепа, навесил?
Уехали. Дом заколочен. Итог
обычный: ни плясок, ни песен.

Как ни суетился, простыла кутья
за пару линиялых довесков
в ладошку сметаемых крох бытия,

что так и не стали гротеском

житухи какой-то иной, что смогла б
вся в лаврах катиться с успехом...

И, вроде, не в пьянке – в стихах был не слаб —
к пустому театру приехал.

2

Хоть и сменил декорации, жизнь подошла
к возрасту, что знатоки называют тоскливым —
август, и в реках спадает вода, и тепла
не удержать поржавевшим, склонившимся ивам.

Как пронеслась она, юркая! Только что тут
все под рукою, казалось, и не было часа,
чтобы его не заполнить до верха, маршрут
был нескончаем и даже, казалось, с запасом,

не на одну... Сыновья выросли, и дом
укоренялся в подпочву чужую прочнее,
чем в роковую родную, что тянет с трудом
нищенский, кровью повязанный комплекс идеи.

Но это только казалось, туман или смог
сгинет, подует лишь ветер да солнышко встанет —
слыть объективным за 70 проще, чем в срок,
только что спущенный промыслом зрелости ранней.

Если же трезво – кончается лето, а там
осень свои подобьет ключевые итоги,
хрупкая сущность расколется напополам —
в до или после заветной прощальной эклоги.

Жизнь, спотыкаясь, еще по инерции шла,
но и когда вдруг повеет наитием свежим —
разве обеды какие с чужого стола,
а вдохновенье все реже, и реже, и реже.

Память, что старый дуршлаг, только дыры крупней,
как с корабля обреченного валятся мыши —
голый костяк облысевший, край леса из пней,
а голоса с ниоткуда все тише, и тише.

Вот и сейчас на закате сажу на краю
кромки морской, где прибой ненавязчиво движет
стрелки незримые, что-то пишу ли, таю,
а расставань все ближе, и ближе, и ближе.

Стерлись рубцы поражений, улыбки побед —
крохи остались, дареные жалкие крохи,
кто-то вот-вот подберется и выключит свет,
что озарил снисхождением горечь эпохи.

К засухе

Я три недели ждал дождя
с травой вместе,
что сохла, еле приходя
в себя в предместье

лишь поутру, когда роса
хоть чуть питала.
Не то, чтоб я ленился сам,
чтоб влаги мало

в слоях глубинных, да смешно
пытаться лейкой
укоротить стихию. Но
случится фейком

чуть тронуть верхние пласты,
с пустячным смехом
пусть люди шепчутся, что ты
мозгами съехал:

«Под тот сушняк – пустой расход
воды, чудило.» —
«А если вправду оживет?» —
«Какая ж сила

нужна! – орут. – Куда попер!
Тут разве речку!
Ты, как всегда, наперекор:
затеплить свечку —

мол, стало б каплю посветлей...
А на хрен, братцы!»
Я три недели ждал дождей,
да не дожждаться.

Стихии ль, власти произвол,
толпы зевота...
Но лью, пишу, хотя бы в стол —
ну, должен кто-то.

Задами эпоса

Эпос, не эпос – итог
грустных, увы, созерцаний,
не до иронии вовсе
той, что со-спутник сложил.

Муза скупая моя,
тормози, не давай размышленьям
сбиться на менторский лад —
на героику лиру настрой!

Как тут, когда второпях
прет такое смещение понятий
о героизме, какие
трагедии – цирк шапито!

Думалось, время сползет
и замученных, и вертухаев,
от разливанного моря
водки очнется народ.

Дети вчерашних детей,
грезилось, двинут в музеи,
вздогнет забытый катарсис
в амфитеатрах опять.

Кто ожидал бы, что им,
казалось, в годах электронных
взросших, где столько дорог —
кайфом тупой Колизей!

Хлеба и зрелищ бы... Что ж,
спорт есть спорт, но когда вместо пленных,
бьющихся на смерть за жизнь,
хлюпки тыркают мяч!

Цезаря, Брута взамен,
где тоже тщеславья без меры,
только возвышенный долг,
слава превыше всего —

воры, пигмеи пришли
от зловещих провалов лубяньских.
А миллионы – ура!
Муза, как это снести?

Нет, не высокий сюжет
нам подкинули новые боги,
если смиренье в ответ
или тупой фанатизм.

Время пародий, увы, —
быть подпевалой в спектакле,
что разыграла толпа
ради все тех же монет

к трону прорвавшихся, кем
рабски увечен, увенчан
очередной простачок.
Звездам, как девам, краснеть...

Вопли где жен, матерей
где неизбывные плачи,
тех андромах и гекуб
где пререканья с судьбой,

что заплутала опять
в изменных наших страстишках
ради ль того, чтоб сложил
эпос бессмертный слепец?

Муза, с чего же теперь
манишь к извивам изящным,
где поэтический блуд
затемно стянет строку

набок куда-то, не вглубь
да с оглядкой на прежние слухи,
где, представлялось, не так
был безнадежен абсурд?

Шире вселенной спираль —
наша воронка все уже:
близится новой войны
неумолимый виток.

Иеремии зарев,
жалкий вой полудурки Кассандры
приостановят прогресс?
зуд продвиженья смутят?

Копьям на смену, мечам,
где не мышцы решали, а храбрость,
серость наука взвела —

ядерный вздернулся гриб!

Муза, уж речь не идет
о достоинстве, мудрости, чести,
жизнь популяции – пыль,
дунул – как не было нас.

Да и когда б лишь «венец
разума» – стонет Природа,
пара веков – и Земле
в космосе не устоять...

Боги всеисильные, вы
притерпелись как будто, смирились —
силы какие-то вас
тоже гноят на цепи?

Мы под спецслужбами – вы
от заплечных своих осторожны?
Трубам архангела петь
машет какой Демиург...

Ваши ли, наши ль вожди,
судя по мифам, не те уж,
сказки смещаются в явь —
в эволюцию наоборот.

Или поэзия врет,
то сгущая, то путая краски?
Муза, тогда подскажи,
как с этой тропки свернуть.

Вот бы оттуда начать,
где гекзаметры спорят с оружием,
может, иначе б пошло,
хоть и там не спасла Илион

хрупкая ты... Что ж, и мне
от парадной стены красноречивой,
от саркофага туда,
где Эгейское море грустит...

День августа (первые приметы)

*Шестое августа по-старому,
Преображение Господне.*

Б. Пастернак

Плыл август. Лето истекало
с жарой и сухью, и уже
кленовый лист дрожал устало
на предпоследнем рубеже

к желанной осени. В зените
румяной щедрости земли
взвились хромающие нити
гусей-подлетков. Дни сошли

рождеств и роста – птичья братья
как будто щупала маршрут,
которым к новой благодати
стремиться встречь. Пяти минут

и не пройдет, как опустеет
без их сумятицы жнивье,
нам лишь вослед, свернувши шеи,
несовершенство клясть свое.

Опора высшая сместилась,
не завершив предельный круг,
где им – в просвет, а нам бескрылость,
бессилье внешне крепких рук,

от созерцанья к разрушенью
скользящих в праздной суете,
утратив естество творенья
и, значит, ценности не те

приняв за веру. Хоть надежде
на бабье лето впереди
еще маячить, но не прежде,
чем беспросветные дожди

солятся с золотом поддельным,
задержав серым полотном
былую синь, и оба бельма
до щелки сдвинутся. Уйдем

в иную явь, или усталость
не победить и в этот раз?
Преображенье продиралось
природой, вновь минуя нас.

Кленовый лист держался еле
на ветке, схожей на насест,
кряхтели старые качели,
вороний лай гремел окрест.

Ужель закончиться поэме
приметой с ранних с похорон —
а вдруг отложен лишь на время
Преображенья светлый сон?

Тень поэта

Перед закатом на краю
смещенья сумерками света,
он вдруг увидел тень свою,
там заблудившуюся где-то,

где еще нет его, еще
не оборвался стих последний,
где должен быть предъявлен счет.
И кто-то топчется в передней,

но не заходит – не пришло
еще назначенное время,
еще не ночь, еще светло,
еще конец совсем не в теме.

Да и какой конец, когда
явленье сил необоримо:
прибрежный галечник вода
штурмует. Тень проходит мимо,

лишь приостановившись, при-
шуриив сросшиеся веки.
Или он сам плутал внутри
иных миров, где те же реки

спускались к морю, тяжкий груз
с рук на руки сдавая, ивы
клонились ниц, и местных муз
кружился рой, дуга залива

очерчивала бег минут
ухода тела, солнца в тучах...
И тень души осталась тут,
у кромки вечности текучей,

где легкий бриз качал ладью
с бессмертной лирою Орфея,
перед закатом на краю
смещенным светом пламеня,

где размывались тыл и фронт
под песнь нездешнего поэта,
и расширялся горизонт,
объемля мир и тот, и этот.

В плену

Октябрьский подводя итог
стремглав промчавшемуся лету,
сознать, что растрянжирил лепту,
до древа не довел росток.

Когда, за скрипкою летя
четырёхстопным ямбом прытким
(пусть были ранние попытки
и неуклюжими хотя),

послушаться б учителей,
собой что оставались в розни...
Да, можно крыться, что из поздних,
что сносит жизнь без якорей.

А ведь у музыки подчас
в плену срывался строй попсовый,
случалось, подбивало слово
в очередной отрыв от масс,

откуда вышел и кому
служил по совести полвека —
но тем ли... Пусто по сусекам,
прирос к привычному ярму.

Не взбунтовался и тогда,
когда заматерел и рядом,
казалось, вызов – плыл со стадом,
хоть чуть в сторонке, в никуда.

Да как отбиться насовсем
от глины отчего застоя,
от лебеды и зверобоя
в жемчужной утренней росе?

Сбежать от женского тепла
и сыновей подпитки с тыла...
Куда бы скрипка завела,
просодия куда б сманила?

За то и платишь: в поддавки
пытаться частью оробелой
играть в искусство... Жизни целой
ему не хватит! Не с руки

сказалось то и то сберечь —
как семена напрополюю
швырять... Уж срок, и сбросить с плеч
пора суму полупустую,

под роковую ворожбу
когда не рвался к высшей цели,
не перекраивал судьбу
за тихий свет в конце туннеля.

Кропал, урвав по мере сил
от быта крохи, и с успехом,
друзья кивали, жизнь прожил.
А что в балансе по сусекам...

Всего-то лет наперечет,
едва ль расплатишься собою —
когда искусство не спасет,
то не спасет ничто иное.

И, конформист, спешу нагнать
хотя б в оставшемся отрезке
птиц отлетевших, в перелеске
неизбываемую стать

осеннюю, и сгоряча,
забыв про боль, тащусь за словом,
чтоб ритмы затянули снова,
прощальной музыкой звуча.

«...без божества, без вдохновенья...»

*Прощайте – мне чудится, что я у ваших ног, сжимаю их, ощущаю
ваши колени...*

Пушкин – А.П.Керн

21 августа 1825 г.

Почти два столетия... Кто вспомнит о Керне —
так, был генерал как собачка при ней.
Насколько же классика ярче модерна
по духу, настолько по плоти скромней:

домишко не очень, а что об аллее
сказать – то всего-то шагов с 50.
Зато горизонт становился светлее,
лишь тайный огонь полыхнул невпопад!

Загадка ж малевичского квадрата
проста – плоскостопие будничных дней.
Но как без романтики жизнь скуповата,
так приспособленье пошлей и подлей,

чадит себе тускло в запое, в засилье
чиновных, охранных лоснящихся рож.
Ему не расправить подрезанных крыльев,
хотя и свалить за кордон невтерпеж

от этой «великой», от этой «могучей»,
как грубо сколоченный Ноев барак,
обернутый сетью родимой колючей
по контуру, что замыкает обшак

на том семихолмье, что к третьему Риму
причислил себя, не пытая о том,
что первые два, проскользнувшие мимо,
куда попрочней – а туда же, на слом.

Модерн, вроде, вызов, но там ни листочка
живого, хотя бы сиреневый куст
от Врубеля! Контур, линии, точки —
мол, внутренний мир... Как однако он пуст.

Когда б Сирано с неприклеенным носом
за шпагу и Телль натянул тетиву!..
Сентябрь на закате, тяжелые росы
накрыли сухую по лету траву,

чтоб, отзимовавши, очухалась к маю,
пустив хоть бы поросль от старых корней.
Надежды серьезной и я не питаю —
чем старше, запросы скромней и скромней.

Но как впереди ни туманно, ни пусто,
в прагматике арта глубокий застой —
романтика светом пронзает искусство
совместно с любовью, свою сестрой.

В Михайловском пусть ей обыденным фактом
питаться – страстинкой двух тел молодых,
но лишь колокольчик прощальный по тракту —
вослед напоенный поэзией стих.

А без божества, как и без вдохновенья —
смещение заведенных координат:
от голого разума вкупе с уменьем
скандалит безжизненный, черный квадрат.

Служение

*Зачем же плачет даль в тумане,
И горько пахнет перегной?*

Б. Пастернак

Опять березы и осины
толпятся в черном у крыльца —
очередные годовщины,
и речи, речи без конца.

В «служении литературе»
какой-то выпренный запал —
а просто следовал натуре
и, как казалось, так сказал

под интонации Шопена,
разбросанные второпях.
Весна стояла по колена
в еще не высохших слезах.

Как будто август обернулся
на май в исходе, к той поре,
когда, казалось, мир проснулся —
сирень вскипала во дворе,

хор смолк уже, но птичье пенье
гремело сквозь иконостас.
Мы подчиняемся служенью,
когда оно превыше нас.

Нам выпало кружиться возле
случайных прихотей эпох
с попыткой внять – что будет после.
Судить не нам, помилуй бог.

Размытый лик в оконной раме,
в недалеке могильный прах...
Играть в слова, дышать словами,
оставшись здесь не на словах

бульварной критики, что злее
не станет – некуда уже,
не в доме даже, что музеем
случится все же – на меже,

увы, застроенного поля

по мановению блатных,
где узнаваем был дотол
деталими, что вжились в стих.

Пока хулой чернила площадь
по осени предгрозовой,
с ольховой поредевшей рощей
срываться в высший непокой,

лишенным суеты, что мимо
незамечаемой текла.
И возносимым и гонимым,
обиды выжегши дотла,

на перевозе, перепосте,
преображая звуки в плоть,
у пруда перекинуть мостик
в иную глубь, в иную водь.

Там по сошедшимся приметам,
куда не сунется провал,
на призрачной границе лета
как будто в Лету отплывал,

где упокоивались бури
в соседстве с этой простотой.
Служение литературе...
Чему мы служим, боже мой...

Средина октября

Здесь бабье лето – осень всю, тепло
до декабря бывает, лишь ночами
заиндевеют крыши, за стеклом
капель тогда забьет под каблучками

лучей привставших. Потянувшись всласть,
сбежав от полубденья-полуспячки,
скорей за дверь – занять или украсть
горсть мудрости хотя бы из заначки

притормозившей ясности, пока
ее не замутнит стезя иная,
обряженный когда, как истукан,
лопаты выгребаешь из сарая.

Но и скрипя по первому снежку,
заведомо прибавившему света,
еще сгоняешь зимнюю тоску
картинкой ускользящего лета.

Угрозы севера – пустяк, ослабла нить
начал исходных, пахнет гарью в мире,
круг низший завершается, спросить
каких богов, назначенных в псалтири

для временных насельников земных,
как приостановить исход хотя бы...
Однако здесь тепло, и смутный стих
цепляется за снежный отклик слабый.

Отложим плач: час икс не наступил
на нами же оставленные грабли —
созданье ль утеряло прежний пыл,
что осень уплывает, как кораблик?

Мы на распутье снова, и куда
ему теперь: направо, влево, прямо...
А годы утекают, как вода,
остаться б, слившись с этой панорамой,

сезонную нащупывая связь
с природой, обреченной на кочевье,
и сбрасывать слова не торопясь
под ветер, обнажающий деревья.

Бульвары (по мотивам бальзаковского философского этюда)

Как не дается ничего задаром,
так с осенью игра – скорее блиц
и то в подставу. Пусто на бульварах
не столько внешне выцветших столиц.

Московский подгребет, парижский трафик
из памяти, где свалено всего
навалом из событий, биографий.
Где ж преклонить колени – у того ль,

кто начинал поденщиной до пота,
или того, кто сразу напролом?
Судья найдется, глянет на работы —
что сам оставил кистью ли, пером?

«Я памятник воздвиг...» – Нерукотворный?
«Тропа не зарастет...» – Ни боже мой!
Когда б одни устаревали формы —
сдвигаются основы, как ни строй,

день сокращается шагреневою кожей,
и не спасают кофе ли, табак,
ночные вдохновенья... Подытожим:
есть книжный, есть роденовский Бальзак.

Но уж замшела бронза, а читают
по интернету, так... ученый муж
какой мелькнет – и пусто на Распае
невдалеке от толп на Мулен Руж.

Лет полтора вон – и не случаен
исход от схваток послеродовых:
Париж уже арабский по окраинам
на треть почти! Что сделаешь, увы.

Искусство не морочится приплодом,
а тот подспудно копится во мгле —
не вдруг переселение народов
«сюрпризом» обернется на Земле.

С чего б художник грезил о победе
искусством изможденной красоты
под шелест человеческих трагедий,

за призраком в погоне, где и ты

то рвался за богатством в римских копиях,
то сотня авантюр – в кармане вошь,
женился было все же и в Европе
на даме знаменитейшей... И что ж?

Колоссы не колосья, их считают
эпохами, но если крохи уж
и на Парнасе – пусто на Распае...
Хотя, мой бог, причем тут Мулен Руж!

Как будто внове: тыщи по секс-шопам,
а по читальням сотня или две.
Законы джунглей – выживаем скопом,
пророкам и в Париже, и в Москве

кредита не покрыть, оскудевает
рука дающей, вот уже запрос
сверх сил ее, к провалу мчится стая
под грохот обезличенных колес.

Что Анна остановит поезд скорый
на час какой-то, право, ерунда...
Бульвары притормаживают город
от срыва, по инерции – куда?

Колоссы нынче листья подметают,
когда б в арабских дебрях только глушь...
Скульптуры, книги... Пусто на Распае,
хотя и нет толпы на Мулен Руж.

Желанья, что влезают в промежуток
меж подлинным и мнимым, всякий день
уже иные – мы давно не тут, а
там, где истончается шагрень...

Исчезла... Слава, вроде бы... Но сносит
великие свершенья на смотрю
куда-то вбок, где провожает осень
любовь, так и не спасшую игру,

где Мулен Руж еще гремит канканом,
как будто город сдан абы кому,
и на Распае старые каштаны
уж облачились в снежную чалму.

Бульвары... те же страсти, те же птицы,
саврасовским подобные грачам,

и та же тень привычная ложится
на патину могучего плеча.

Как сыпалась «Комедия» из рога
и как подогривала аппетит!
Вот так же у Никитской стынет Гоголь,
и тоже не сказать, что позабыт...

Перекличка

Ноябрь, как пес, очнулся по привычке
и ухо наострил: о чем поют —
двух языков как будто перекличка
у жизни, проскользнувшей на краю.

В английском осень – fall, что значит падать,
спадать, бросаться навзничь, припадать,
плюс постфиксы, возможно, что засадой
тому, кто stupid (туп) тебе подстать,

чтобы запомнить тонкости, оттенки
сошедшего дождями октября,
где мнет Борей листву, set – ставит к стенке
распятые стволы, посеребря

сорочку почвы, верхнюю основу,
что создает и пищу, и пейзаж.
В английском снег звучит похоже – snow,
лишь выпал, вид (здесь view) такой, как наш

исконный, деревенский. Только выйдешь,
едва спросонья натянув треух —
так ветрено (что по-английски windy),
лопату (shovel), жареный петух

пока не клюнет, к черту! Как ни бейся,
поток сознания не спешит с рывком,
ленивый, сволочь, (по-английски lazy)
растает к полдню, словно в горле ком.

В еще вчера зовущей, похотливой,
двусмысленно воспетой нагоде,
вдруг что-то исчезает – disappear,
поскольку ощущения не те,

обмылки лишь... Темнеет аж в 4,
ноябрь – уже предзимье, иней скор
все под гребенку. Пусто (empty) в мире,
предпочитаешь ждать весну (prefer).

В окне с рассветом кадрами мелькают
вороны, в стаи сбитое скворчье,
и нечем вдохновиться (здесь inspire),
как в нецветном кино, где все ничье.

Рябь на воде, заброшенное поле,
отдавшее свое, раздетый лес
вплывут (swim in) как будто поневоле
куда-то в бесконечность (здесь endless),

что безъязыка. Значит, как ни тщишь ты,
не отбрехаться, выйдя из дверей,
будь неизвестным или знаменитым,
отдать концы созвучно pass away.

И пусть вдогон, очнувшись, память крутит
слова, как сыплет страны из горсти,
чтобы понять, как мы близки по сути,
брось dictionary – хватит десяти.

А если и не хватит, что за тайна —
лишь Ахерон преодолеешь вброд,
ту кроху знания (по-английски tiny),
господь на крышку скинет на поход.

Еще одна зима (на выход сборника «Дышащий космос»)

...страна березового ситца...

С. Есенин

Какие дела – делишки:
пыль вымести по углам...
Так очередная книжка
на стол утомленный легла.

Я думал, что пригодится
дерзание и мое —
страна кружевного ситца
опять поросла быльем.

Рассчитывал на минутку
раскрыться, наладить связь,
да все обернулось шуткой,
лишь оттепель пронеслась.

И что же, опять под знамя
из страха или подлей —
для денег сыпать словами
в поддержку лукавых идей?

Российского интеллигента
проклятье, судьба, стезя —
как издавна, ждать момента,
по самой кромке скользя.

Да чья-то свеча не гаснет
от однообразья зим:
Крылов отступил, но в басни,
в «Историю» – Карамзин.

Полсилы ведь тоже сила —
хоть чем-то трясти народ,
кто смог, тот себя смирил, а
не вышло – опять не в приход.

Хоть толку об этом все
в наш очередной развал...
Ноябрь пролетел впустую,
а тоже ведь обещал.

Смотался себе в самоволку,

взъерошив березовый дым.
И книжке взобраться на полку
впритирочку к остальным.

Безбожной утешимся ленью,
в нетрезвый вплывая разгул —
эпохи промчались в мгновенье,
а космос и не вздохнул.

Какие молитвы ль, разборки
на малой песчинке – Земле:
чуть сдвинет ракушечка створки —
и все растворится во мгле.

А что если грезим не чушью
и в этот отпущенный раз —
галактики равнодушьем
хоть как-то зависит от нас?..

К той дуэли

Здесь нет ничего такого любопытного, о чем бы мог я тебе сообщить. Событием дня является трагическая смерть пресловутого Пушкина, убитого на дуэли неким, чья вина была в том, что он, в числе многих других, находил жену Пушкина прекрасной, притом что она не была решительно ни в чем виновата... Эта история наделала много шума... болтали много; а я слушал – занятие, идущее впрок тому, кто умеет слушать. Вот единственное примечательное происшествие.
Николай I – Марии Павловне, великой герцогине Саксен-Веймарской.
4 (16) февраля 1837. Из Петербурга в Германию

1

Жить бытийным ли, событийным ли —
все равно, что блуждать впотьмах,
суть познания – в созерцании,
хоть и это тоже не ах!

Осень сыпет и сыпет походя
то листвою, а то снежком,
чаша отчая выпита, но хотя
не сладка – а истает в ком?

И какая речка ни катится,
память тянет к истоку – к Оке,
Анды кроются белой скатертью —
то Кавказ встает вдалеке.

В простачка сыграл, в грамотея ли
в фарсе века – назло всему
созерцанье само просеяло,
что на выброс, а что в суму.

Не избыть ни того, ни этого,
что рождением дано, но как
не скатиться в раба отпетого,
о тюремный не биться косяк?

Событийная тянет к мщению,
хоть бытийная в общем та ж.
Созерцание – в замещении,
наложив пейзаж на пейзаж,

где смешались к Освего, к Сороти ль
спуск, онегинская скамья,
захлестнувши петлей на ворота

крохи мысли и бытия.

Преходящей активности крошево
разлетится, как снежный ком, —
в созерцанье уж то хорошее,
что останется скудным стихом

про пустые щи, черствый хлеб ржаной
да отечества кислый квас,
что вольется в годину дуэли той,
где как будто стреляют в нас.

2

Будни, разреженные тайком
полупоэзией ли, полупрозой,
тьма непролазная, баба ли с воза —
только не легче кобыле. Пешком,

благо, чуть-чуть. Задувает ветряк
за воротник, и дышалка бунтует.
Десять шагов. Не укрыться никак,
не о себе – о семье помятуя.

Чуть не с два века промчавшихся зим
что-то в последней дороге схоронят?
Вместо навоза давно уж бензин —
где ж эти ментики, где эти кони?

В мерзлой стране созерцанье не ах,
чтобы оставить завет поколениям
как панацею – в долгах, как в шелках,
нет даже места божественной лени.

Бронза отлита уж, но от столпа
Александрийского тот же медвежий
след, те же жертвы и та же толпа
непросвещенная, власти все те же —

чернь подзаборная, с места в карьер
лгать, лицедействовать, хапать готова.
Десять шагов... и последний барьер.
Если б решала не пуля, а слово!

Ах, мы наивные – словно в песок...
все твои бури как светская полька,
разве что тело потянет возок
в Горы Святые. Святые насколько...

3

Как вдруг об этом случилось – не зна...
В буднях, по-прежнему серых и плоских,
с фактов тугих, с воспаленного ль сна
как до меня донеслись отголоски

выстрела дальнего, здешних ворон
лай, а не граянье, как от простуды,
скрежет зубовный, задушенный стон,
словно толчки, что опять ниоткуда.

В том и поэзия вся: от сохи
и до молитвы, кому-то вносимой,
горы любовной святой чепухи
в проблесках смысла, что мимо и мимо...

Кони Айленд

Кони Айленд... Ласковый апрель
наконец-то. Океан в обнимку
с выскочкой-пловцом, что канитель
зимнюю сгребает. Паутинкой

вдоль по кромке скачет детвора,
взрослые колеблются повыше.
И какие их снесли ветра
из халуп, где так скупают мыши...

Что ж, смотри и слушай, занесло
коль самих за злачные пределы,
как ложатся чайки на крыло
в память дальних вод осиротелых.

Это не картинка, не подброс
ушлых журналюг на TV шоу —
это тот же горбится вопрос
судеб, наспех списанных, грошовых.

* * *

Променад на Кони Айленд
что парад:
под прибой, как под гитару,
ходят тройки, ходят пары
врозь и встречу,
не заботясь о проценте,
специфическим акцентом
красят речь.

О крутом каком-то Мише
слух: «Опять в кальсонах вышел
в магазин!»
О его товарке Кларе:
«Что нашел он в этой твари?» —

«Молода,
ну, а что с пустым умишком —
шкурой чует золотишко.» —
«Уж куда!» —
«Говорят, он не в накладе...»

Тема тонет в променаде,

где и спереди, и сзади
свой язык,
разве кто кавалерийски
пронесется по-английски —
не отвык...

С места враз: «Учили б что ли,
русский наш!» —
«Ша! Вписаться каждый волен
в антураж.» —
«А чего им не живется
у манхеттенских колодцев?
Там бы – пусть!»

В этом вынужденном крае
хоть кому-нибудь мешает
чья-то грусть
с юморком каленым рядом
колобком по променаду
во всю прыть —
филиал страны восточной,
поминаемой заочно.

Где б ни жить —
там концы и там начала
фарсов-драм,
по каким ни разметало б
по векам,
по пескам и по сугробам —
хрен сочтешь.
Не сказать – народ особый,
ну, а все ж...

Не чужая, не родная —
а своя,
словно птиц залетных стая,
алия
сколь властей перемотала,
сколь молитв перешептала,
если б впрок...
Здесь, покуда нет решетки,
без опаски, во всю глотку
говорок,
слово где, где полсловечка —
толкотня!

«Тут из нашего местечка
вся родня:

Дора с мужем, Сеня с Ритой,
Марк Ильич...» —
«В Кони Айленд дурка Галя!..
Ведь еще в Москве сказали —
в Брайтон Бич!» —
«Так пройдишь, ведь рядом, детка!
Иль старо?» —
«Да совсем другая ветка
на метро...»

Писк правей: «Еще евреи...
мало, сел на нашу шею
этот зять...»
Бас левой: «Ну, коммунисты —
как-то ж вышли в программисты!
Что ж бежать...»

Чуть не в грудь: «Достанет нервов —
налетела эта стерва,
увезла...»
А вдогон: «В каком покое —
здесь у нас в соседях гои!» —
«Ну, дела!»

Сверху, снизу, как отмазка:
«Просишь ласки —
буржуазка!»
По сложившейся привычке:
«Ищешь стычки —
большевичка!»
И припев как бы с хворобы:
«Что с работой?..», «Как с учебой?..»

Словно гул молвы вселенской,
по природе больше женский,
потому и справедливый,
где приливы и отливы,
как хронометр сердечный,
аритмично бесконечны:

«Вот свезло – в стране заклятой,
да еще и с пунктом пятым!» —
«Жили, что ж...» —
«Выживали, а не жили.
Не желает в этой гнили
молодежь!»

«Деды делали революцию

на потом.» —
«Перманентная экзекуция
бьет кнутом.»

Искалеченные судьбы:
«Нам до внуков дотянуть бы...»
Затаенные надежды:
«Слава богу, не невежды,
обретут свою дорогу
понемногу...»

* * *

Кони, Брайтон... Мудрый океан
променадом этим не смутится,
что ему до языков, до стран:
войны, договоры ли, границы

здесь по фене. Катит он валы
наискось от берега, где дети
лепят крепость, оттиском былым
что еще случается на свете,

все еще кому-то не с руки
поделить по праву твердь и воды.
Бедные еврейские совки,
так и не обретшие свободы...

Осень восьмая (с митинга в Сиракузах)

Доан Холман

Осень восьмая минула со сборов, со стен снятых, казалось, глаза намозоливших фоток, но бесконечно родных, словно пенье сирен, из-за которых за борт переваливал кто-то.

Переселенья хотя уж привычны – гусей клинья неровные с клетотом тянутся к югу — но возвратятся домой, как с войны Одиссей, что виновато приникнет к уставшей подруге.

Поднаторевшим в античности, нам наперед ведомо – врут предсказатели лихо, однако снова соблазн хитроумного втянет в поход, и на восходе исчезнет за дымкой Итака...

Страсть любопытства, зуд творчества смутного – бич первопроходцев, титанов игры бесшабашной с утлым застоєм... Но что петербуржец, москвич книги, как лары, в мешок – и по тропке вчерашних

беженцев рвут за кордон полицейский, столбы не Геркулесовы хоть, но отнюдь не слабее, из афоризма у Гамлета выбравши «быть!» — и в неизвестность, пока горизонт голубеет

в этой реальности, где далеко до чудес божьих, с рожденья глотаемых с манною кашей? Нет бы понять, как лукаво играем в прогресс... Мир не меняется – лишь представления наши.

* * *

Осень восьмая, как пересечен океан, в этом отрезке сын вырос и почва обжита, вроде оставленной той. Предсказаний туман снова как будто зовет от привычного быта.

Или и здесь здоровой мысли обьедки, толпа, падкая на уговоры шута, прожектера, что на спасителя тянет, как наш, а колпак прячет таких же шестерок придворная свора?

Видимо, так уж заложено, что снегопад
словно прошелся катком по незрелым посевам.
Вправо природа качнулась, – сказал бы Сократ.
Чтобы, – добавил Платон, – возвратиться налево.

Маятник, как ни противься, часов мировых
тиком ли, таком стрекочет себе равнодушно,
пусть не всегда равномерно – то в крик, то притих,
то одарит, то задавит налогом подушным.

Солнца активность ли, черные дыры, бардак
на стороне отчего-то невидимой лунной...
что тут изменишь, казалось, да как бы не так —
дрожь пробежит вдруг по массе, казалось, чугунной,

что простояла века ни туда ни сюда,
не увлекаема сверху наивным напевом,
ей же самую надуманным, – и по следам
тех, что не ведают качки ни вправо, ни влево.

* * *

Осень восьмая, на выход! Гнилая зима
пусть наступает на пятки – какие уж лыжи!
Да не случайно протестомдохнул Потомак,
совестью мира больной, значит, кто-нибудь движим.

Часть небольшая вначале – но пусть со страниц
Библии так и взметнется вопль Иеремии!
Тяга от темного к светлому шла от крупниц
исстари, но хоть чуть-чуть побуждала стихии

притормозить – снова к пропасти век подошел,
где испытанье терпеньем предстанет дороже
сопротивленья. Ужель допустить произвол,
что заиграться в кровавые игрища может!

Было недавно еще и не раз, и не три —
память короткая дремлющих многих подводит...
Мир если как-то меняется, то изнутри,
вот и ржавеем, когда не живем по природе.

Осень восьмая твоя ли, кого-то ль еще —
вместе сошлись на стихийную сходку, едва лишь
власть посягнет на законное право. Расчет
шел на безликую массу – да мы не проспали!

Игры в гадалки-смотрелки отчаянны, как

всякие игры, да только уводят от дома —
станет небесная стрелка наперекосяк,
если впадет наше равнодушие в кому.

* * *

Осень восьмая... Напомнит Гомер, как ладья
сына бодается с бурей, отец – за оралом,
крохи случайно отсыпанного бытия
чтобы потратить с какой-то хоть пользой малой.

Местный, москвич, петербуржец ли... дело не в том,
где и куда суждено перетаскивать лары —
хрупкие, связаны с хрупкой Землею, плывем,
лишь сберегая пока этот хрупкий подарок.

В углу своем воскресенье нам знать не дано,
сколько еще облетят и раскроются листья
десятилетий, веков, мигом мчащихся, но
держит еще на плаву свод негаснущих истин:

не суетись и молясь, не убий, не кради,
страсти смиряй, чти законы, не трогай чужого
и не терпи бесконечно, когда из груди,
чем-то стесненной, вскипает свободное слово.

Облик планеты и так уж не лучше от нас,
наворотивших вслепую, что нечем гордиться —
как же, прогресс! Хоть такой сохраним про запас
правнукам... Вспыхнула искра в осмысленных лицах,

небо расчистилось, солнце пророчит весну,
люди, лишь маятник все же качнулся чуть вправо,
встали, сцепивши ладони, чтоб эту волну
встретить не дрогнув – не детская вовсе забава!

* * *

Ну, а домой... и мы тоже вернемся домой,
только народ свою спячку дремучую сбросит
и повернется туда, куда вектор ведет мировой —
в общий прогресс.

Мы вернемся пусть в самую позднюю осень.

Искушение

Сколько зим, как строка, бегущая
не вперед, а скорей назад,
искушает то, что отпущено,
тупо силясь взобраться над...

Будто бочку прибило к берегу:
все впервой – ни служб, ни долгов,
а Америка... что Америка,
не до места – хватило б слов.

Пусть не звонкой мальчишьей россыпи,
там что в занятости не пришлась —
здесь наметил писать без просыпа,
с мастерством обретая связь.

Так и шло: поначалу исподволь —
еще старый давил багаж,
постепенно к тому, что выстрадал.
Только как это передашь...

Лишь черту подводя событиям,
расслоенным в осадке дней
от отплытия до отплытия,
сколько видится мне ясней,

как обратное время сплющено,
как ташу понапрасну кладь
и спешу наверстать упущенное...
Будто можно жизнь наверстать.

К форме

Что форма – строгий контур, раскардаш,
свобода выбора, забор ГУЛАГа,
традиции, смещения, эпатаж
в подполье, на миру... С какого шага

начать, каким закончить? Просверкнуть
глубинной сутью ноты, краски, слова —
и вдруг поставить точку пулей в грудь,
как Маяковский! С бодуна какого

Сергей, Марина... Черта ль в петлю лезть,
как Лермонтов подставиться и Пушкин!
Страну оставим, здесь что есть, то есть:
каков народ, такая и верхушка.

В искусстве как не прыгнуть за порог
доступного, когда так тесно в раме
границ вмененных – не с того ль Ван Гог,
как Шуман, Гельдерлин, пошел мозгами...

Зуд выразить себя неистоим
настолько, что, пытаясь все преграды
преодолеть, как в смерть, играешь с ним
и даже счастлив... Но не жди пощады,

не ты его – он сам пересечет
все созданное кстати и некстати
чернилом, кровью... Знать о-формит черт
ту сделку, что подкинет нам создатель.

А не подкинет – кто ж так истошил
запас, что лавр засох, умолкли трубы?
В двусмысленности нынешних сивилл
хоть форму тела удержать свою бы...

К прижизненной связи

Восемь лет, словно «ехал грека
через реку...», и мой вояж:
показаться, мол, жив калека,
так платите – с полвека стаж.

Целых 5 часов до Нью-Йорка
начитаться, и выспаться, и
наглядеться на снежные горки,
на застывшие в камне ручьи

ранним мартом. К середине апреля
отложить коль, картинка не та:
белым, палевым, розовым хмелем
наливаются кроны. Устав

поменялся в мгновение ока,
к настоящей свернуло весне,
где совсем не по теме – из окон
разнозубый пейзаж вдруг извне.

И туннельную скуку развеяв
под смирившейся толщей воды,
трешь глаза на безумном Бродвее,
где теряются напрочь следы

хоть какой-то особости – толпы
в мешанине жратвы и реклам.
Ты не то чтоб затерян – раздолбан,
вброшен, втянут и выкинут в спам.

Но чуть в сторону, выше ли, ниже
обезличенных кариатид —
Парк Центральный, студенческий Виллидж,
где заждался давно Мортон Стрит.

Не столкнуться, хоть поздняя осень
на двоих, но во дворик войти
и представить на миг, как Иосиф
нам навстречу... Да как ни грусти —

тень поэта лишь, Гудзон штрихами
передернет – вновь проза, как плоть,
вместо берега дикого – камень,
усмиренная серая водь...

Отмотав по музеям нагрузку
в этот полунедельный прогон
и отметившись в консульстве русском
у гебешников, снизивших шмон,

не жалеть о минувших утратах,
хоть не манит и здешний уклад
муравейника – к дому, к пенатам,
что на полках понурые спят.

Из второго ряда

Если душа родилась крылатой...

М. Цветаева

Как прикоснешься к великим, сразу
стыд подопрет – ты не столько мелок,
сколько ленив: не отделал фразы,
мысль не додумал в чаду поделок.

И не сказать, что повязан бытом
или совсем уж не вышел рыльцем —
не выделялся, не бил копытом,
чтобы мечте потаенной сбыться.

Здесь притаясь, из второго ряда,
как летописец при общей стыни,
прятался в стол, и внутри тетрадок
клики восставших, рабов унынье.

Будем судимы ль, промчимся мимо —
вряд ли оракул какой просвищет,
призванных долг – не сводить в терпимость
спесь вороватых и зависть нищих.

Вроде, учитель – не создал школы,
свет открывая – блуждал в потемках,
страсть создающих, бездетность полых
лишь отражая и то негромко.

Знать, не настолько душа крылата —
ей бы сорваться от будних весей,
перечеркнув никчемный остаток,
чтоб захлебнуться последней песнью...

К чувству родины (в ответ оппоненту)

Знаем, родину не выбирают,
не сложилось – ничья вина:
ты теряешь – она теряет,
ты не в силах – она больна.

Эмиграция... раньше ль, позже...
Кто отчаяться не привык —
те же книги на полках, тот же
стол рабочий, родной язык,

для друзей открытые двери,
сад чуть меньший, процветший весной.
Чувство родины не измерить
показухой чьей-то шальной.

Цепи внешние временем смоем,
а без кровных, как ни мудри...
Мы увозим ее с собою,
ту, что бьется у нас внутри,

эмиграция – лишь дорога
обретенья на полпути.
Это как с потаенным богом —
все идти к нему и идти.

Неистовый май

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...

Из песни на стихи

А. Фатьянова

Запроданный май распускает салют,
для выживших днесь «особистов»,
а жертвы... им то же есть пара минут,
и хватит... Но он так неистов,

что сбились со счета – какая весна
в свои хороводы сманила!
Казалось, довольно, копилка полна,
уже на соблазны нет силы —

как вдруг про окопы в гнилом феврале
забыв, кровожадность расплаты,
язычества пиршество в каждом дупле.
Метаться, кружиться пернатым

под ритм перводвигателя, под мотив
природы, с теплом запоздавшей,
и клеить семейное счастье, сменив
наивные детские шашни

на кров хоть какой-то, на крышу, полы,
сплетенные пухом и травкой,
где вот уж птенцы обживают углы,
галдеж на кормежке и давка.

Свет льется, как будто ему невдомек,
что будет смеркаться под вечер,
доверчиво плоть обнажает цветок
случайному солнцу навстречу

по эту ли сторону жизни, по ту ль,
где ветер задует, заснежит.
Прносятся годы в любви и в поту,
вдогонку за ними, как прежде,

в отстроенных, вроде, домах ли, дуплах
деревьев, израненных бойней,
все то же: по кругу опять второпях,
хоть как-то не стало спокойней,

и серые будни летят кувырком

в своем несвободном укладе.
Когда бы иное с «бессмертным полком»,
и не «особистов» бы ради,

которые снова пророчат войну,
с насиженных мест ни ногою.
Неистовый май только эту шпану
не держит за павших героев,

он истинным пел бы, кого соловьи
давненько, увы, не тревожат...
Но правда войны еще теплится и
совсем не исчезнет, быть может.

Философские потуги

1. Неудавшаяся попытка

Как говорят, на свете много правд,
смотря от цели: действие ль, штукарство...
С какой из них Платон за «Государство»
пил с Дионисием на брудершафт?

Шел ученик на снисхождение дружб,
когда Сократ за базис брал натуру,
где чаще побеждают диктатуры
какой-то мелкой сошки с разведслужб.

Косить людей им, что косить траву,
лишь бы корону не оттяпал кто-то.
А Сиракуза... в общем-то болото
не только в переводе – наяву.

«Уж слишком стройно... что, как свалят трон,
желающих испробовать так густо...» —
тиран решил, вернув кровать Прокруста,
где то растянут, то сожмут закон.

И сник Платон с наивнейшим дружкой:
попробуй докажи – какие шашни!
Что в рабство сесть, что под арест домашний —
совковый суд не суть... Как он знаком!

А было все по делу: рубежи
свободы и запреты, чтоб не пусто,
наперекор Сократу – сгон искусства,
которое, хотя противник лжи,

но отвлекает, не в строю, скорей
как всплеск неподконтрольного наитья.
А это что ж – куда хочу отплыть я,
туда плыву?... Сперва познать людей,

считал Сократ, себя хотя б – вот цель,
без этого утопия – Освенцим,
где тот же строй. Но это дело немцев
со свастикой – всех под одну модель.

Искусство ж бьет на чувственность, а ей
в железном царстве разума – задворки.

Философы у власти... Черствой коркой
венчается великий мир идей.

Их было столько – не уместит склад,
да как-то так выходит – не живут, а...
Когда бы «Государство» – райский сад,
но практика иная: как ни круто

замешано, мир втуне прозябал
в обжитом переполненном болоте.
Мысль, было, вызвал старый Аристотель,
и юный Александр девятый вал

обрушил – ну и что?.. Община пьет,
а если вдруг решит, что маловато,
то сослепу потычется куда-то
и в конуру... Как плыть наоборот,

когда Платон не то, чтобы неправ,
да так логичен – места нет и смерти?
Вот, говорят, на свете много правд —
и чудаков не меньше, как ни мерьте.

2. Кинический мотив

Философия мудра,
только жизнь еще мудреней...
Я скакал бы до утра,
да какие к черту кони —

лето тронулось с дождей
от весны такой же серой.
Я бы пил, да как ни пей —
толку, как с наивной веры:

вблизи сморгнешь – надежды в прах,
глянешь вдаль – и там потемки...
Что б ни сдвинул я в верхах,
да в низах – одни обломки:

от героев – героин,
от любви христовой – в храме
немота понурых спин.
Я б... Да что тут со стихами?

С ожиданий – ни гроша,
вдохновенье отлетело,
заболочена душа...

Но кому какое дело,
что скакал бы, пил, играл,
спину горбил за блокнотом —
на кону – грядущий шквал,
чем-то он зальет пустоты:

философия ль взамен
крохам дней, где те же стяги?
Хмыкнет в бочке Диоген
Александровой отваге.

Бог на миг: «Проси, аскет,
все, что хочешь, дам в награду.»
Киник: «Сгинь, не засть мне свет.»
А и вправду, что нам надо...

3. С иных глубин

Как строить жизнь – народ впотьмах судил,
слагая мифы, воздвигая храмы,
прислушиваясь к шепоту сивилл,
кому тайком прибором вещал тот самый,

что вел в поход безумный корабль
на Трои иль, отягощенный кровью,
с Итаки весть разнес всю ту же вдовью,
что вряд ли тем прижиться, что пришли

от философских ли, поповских схем
с житейской сутью разве вскользь повенчан.
Казалось, двух достаточно поэм
признать, что по природе – все от женщин...

От них, как от Елены, тарарам
и книг, страстями напоенных, кипы.
Сократ бы не был ближе к мужикам,
когда б не напоролся на Ксантиппу.

Платон – бобыль...
Остывшая вода
от игрищ диогеновых расскажет:
имеет смысл стремиться по следам
проплывших вдоль границы этой лажи

разумных обществ, ожиданий дня
небесной благодати и покоя?
Века сошли – вновь грабит солдатня

такую же беспомощную Троицу...

С крушением мифов волны унесут
и наши озабоченные вздохи,
смущенный разум проиграет суд
живому чувству.

Передать хоть крохи

иных глубин наследникам, кому
пора придет дорожную суму
тащить своим путем, когда не по хер,
где все – от женщин, если по уму...

Ночная чертовщина

Какую ночь ворочаться опять:
плечо грызет, черт травит на трехрядке,
нудя: свалил за 3 по 25
и будь доволен, что башка в порядке.

Да к черту черта – Моцарт что ж не шлет
с небес иных блуждающие искры,
пока землю не забился рот?
Я договор не подписал с нечистым,

с того не заработал ни гроша
и славы не сподобился нимало —
упрямо в стол пишу... С чего ж душа,
как раненое тело, захромала?

Врач (свой же сын): по возрасту... артрит...
попил-поел, не ограничив строго...
Да тело телом – тут душа скорбит:
что ж, слабачок, не вышел на дорогу,

так на подходе и застрял, хотя
не поскупилась, кажется, природа...
Итог несостоявшихся растяп —
в преддверье нешутейного исхода

как будто вбок черт тащит: «Не злодей,
но не пророк, знать высей недостойн!» —
в слепую ночь, где ломота костей

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.